

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Абсурд не в человеке и не в мире, но в их совместном присутствии.

Альбер Камю

На сей раз в ноты я даже не заглянул. Какая-то непонятная сила упорно отводила мои глаза, словно передо мной была не запись шедевра, а ложка касторки. Позже я пытался понять, почему мною была нарушена моя же собственная традиция, и ничего более убедительного публики в голову не лезло. Я никак не мог поверить, что среди электората мог оказаться тот, кто знает Шопена.

Через неделю это будет казаться мне садистской ухмылкой судьбы.

Но в тот вечер времени на рефлексии не оставалось. Человек из команды Красавцева и его зам по забою кур Петька Пряхин — такой же, кстати, проходимец, как и я — уже щедро лил елей по обтрепанному залу. Голос у Петьки был масляным, и он жонглировал им, подобно заправскому трюкачу, однако масло это казалось прогорклым, и оттого, наверное, от представления за версту несло фальшью.

— Нет, не зря, — сказав это, Петька почему-то поднял указательный палец, — не зря, дорогие мои, наш дорогой Исидор подарил каждой бабушке избирательного округа по козочке, дав понять, каким сердцем болеет он за развитие личных подворий в нашем регионе и за благополучие всех нас.

Ну, насчет сердца можно было бы и помолчать, потому как бессердечие «дорогого Исидора» давно опостылело даже курам на его птицефабрике, не говоря уже о бабушках, которые — надо отдать им справедливость — так дешево свои голоса не продавали.

Впрочем, Петькино словоблудие было мне глубоко различно, лишь бы мой интерес блюли, а это тысяч примерно под сорок, если «дорогой Исидор» наступит на горло собственной песне и не поскупится. В отличие от бабушек я покупаюсь и иногда, признаюсь, дешево!

— Но не только хлебом единым живет наш дорогой кандидат, — продолжал Пряхин. — Он еще и большой любитель настоящего искусства, которому посвящает немало своего свободного времени, а оно, как вы понимаете, драгоценно.

Знаем мы, какому искусству посвящает свое драгоценное свободное время «наш дорогой кандидат» — злорадно подумал я, вспомнив о жалобах провизоров, что из-за него местные аптеки рискуют остаться без «Виагры». Что до злых языков, то они давно уже прозвали его «бабоукладчиком», имея в виду весь спектр значений этого слова, вплоть до коктейля, предназначенного для спаивания дам. Я не причисляю себя к любителям распространять сплетни, особенно непроверенные, ибо наша компактная слободка — социум особый, но Красавцев — именно та персона, ради которой можно было бы и поступиться принципами.

— И вот сейчас, — распаялся куриный убивец, — с музыкальным приветом от нашего Исидора выступит его любимый пианист, которому он трепетно внимает в редкие минуты досуга... Мы приглашаем на сцену Афанасия Подхомутова, большого друга и сподвижника кандидата в депутаты.

Это было уже слишком. Кому-кому, а Петьке следовало бы знать, что к своему «любимому пианисту и сподвижнику» Исидор Степанович без «...твою мать» не обращается; что ж до моего участия в нынешней встрече, то это идея его не в меру ретивого «визажиста», посчитавшего почему-то, что откровение о любви к Шопену может хотя бы частично смягчить сердца электората, основу которого составляли все те же работники птицефабрики, отупевшие от хамства и материцы генерального директора.

— В исполнении Афанасия прозвучит ноктюрн Шопена до минор. — Верный служка Пряхин гнусаво произнес неясные слова, но это прошло мимо внимания зала, возможно, посчитавшего «минор» чем-то вроде очередного сокращения от минеральных удобрений. — Эта возвышенная, исполненная глубокого философского смысла музыка, по словам нашего кандидата, насыщает его стремлением служить людям, решившим посвятить свою жизнь производству куриного мяса и яиц. Просим, Афанасий, просим..!

«Совсем рехнулся, урод», — подумал я и направился к пианино, которые два молодца уже успели выкатить на середину сцены. Послышались два-три недоуменных хлопка, потом перешептывания и, наконец, хихиканье. Я галантно поклонился. Хихикнули снова.

К хихиканьям мне не привыкать, поскольку я, когда играю, строю разные лица. Многие из тех, кто мне внимает, думают, что это шутка, а коли так, то положено смеяться. Я отношусь к этому спокойно, поскольку считаю, что любая эмоция, рожденная музыкой, имеет право быть выпущенной, в том числе и такая.

Сев за обшарпанный «Красный Октябрь», я увидел, что несколько клавиш, ключевых для ноктюрна, западают. Знаменитые октавы в левой руке было уже не сыграть. Правда, меня это не слишком смутило, ибо я давно решил проблему бездействующих клавиш, ухарски внося коррективы в оригиналы исполняемых мною классиков, справедливо полагая, что классики не обидятся, а слушатели не поймут. Сейчас я заменил октавы нотами, и вышло вполне ничего, если не считать двух фальшивых звуков, так как палец дважды сползал с частично отколотой черной клавиши. Внимали до неприличия тихо, к чему я тоже не очень привык.

Должен признаться, этот ноктюрн я так до конца выучить не удосужился. Средняя часть в нем технически непростая, а самое главное, она отпугивает моих слушателей смятением и эмоциональным накалом, а наводит на элек-

торат тревогу великой музыкой — дело не самое безопасное, ибо Исидор мог бы и полюбопытствовать, а что бы я хотел всем этим сказать.

Так что вместо непосильного для меня фрагмента я приспособил среднюю часть ноктюрна ля бемоль мажор, гораздо более легкую, а главное трогаящую сердца изнывающих по любви дам, что для меня особенно важно, ибо играю я главным образом для них. Эффект стопроцентный

И сейчас я, почти не снимая ноги с педали, подобно заправскому таперу колотил именно эту «версию» и почти физически ощущал недоумение зала, который ждал от Красавцева чего угодно, но только не Шопена; о том, что ее дурят, публика, конечно, не догадывалась. Я играл это попури десятки раз в разных компаниях, и никому даже в голову не приходило, что его обманывают. Слова «мистификация» — возможно, оно могло показаться кому-то более подходящим — я сознательно избегаю, потому как считаю, что мистификация должна быть непременно связано с чем-то высоким и духовным, а что может быть высокого и тем более духовного в обыкновенном жульничестве? После того, как был изображен последний звук, послышались два-три жидких хлопка, которые тут же заглушил призыв Пряхина:

— Поблагодарим же Афанасия, от всего сердца благодарим наш народный талант!

Сердце залахватило еще на несколько хилых хлопков, после чего из-за стола, покрытого пыльным, оставшимся еще с коммунистических времен кумачом, поднялся Исидор Красавцев и потопал к трибуне, а «народный талант» бросился сломя голову к выходу, дабы не слушать еще и чужое вранье. Хватало собственного.

Я уже был в дверях, когда кто-то осторожно похлопал меня по руке. Обернувшись, я увидел девочку лет двенадцати с решительным подбородком и похожим на поваленную пирамидку носиком, на котором нелепо болтались то

ли пенсне, то ли очки, что усугубляло и без того довольно стервозное целое.

— Ты меня?

— Вас, дяденька Подхомутов, — ответила девочка на редкость противным голоском, то ли хриплым, то ли визжащим. — Вас...

— Что тебе, дитя мое?

— А я, дяденька, между прочим, в музыкальной школе учусь

— Похвально...

— И знаю, что в этом ноктюрне совсем другая середина...

— Для ученицы музыкальной школы ты проявляешь поразительное невежество, — заметил я тем менторским тоном, который обычно использовал в беседах с моими слушателями. — Тебе, ребенок, следовало бы знать, что великий Шопен сочинил несколько вариантов этого ноктюрна. Я исполнял раннюю версию.

Это была, конечно, полная чушь, однако я пытался сразу же подавить нахалку безапелляционностью и строгим видом, что обычно действует, особенно на детей. Однако это дите сдаваться не собиралось.

— Боюсь, что поразительное невежество проявляете вы, дяденька. Ноктюрн сочинение 32 номер 2 ля бемоль мажор Шопен создал в 1837 году. А ноктюрн сочинение 48 номер 1 до минор, который вы, с позволения сказать, играли — в 1841. К тому времени ля бемоль мажорный ноктюрн был уже известен, поэтому Шопен никак не мог использовать его среднюю часть даже в версии более позднего произведения.

Сказав это, она принялась рассматривать меня с иезуитской ухмылкой...

Как-то тетка Валерия заметила, что если я и способен чего-то добиться, то только не в музыке. Сказано это было фирменным тоном знатока, который выработался у нее годами жизни с клеймом соломенной вдовы, когда приходилось чем-то компенсировать собственную ущербность. На это мать, считавшая, что если я и способен добиться чего-то, то только в музыке, парировала «завистницей», а та, в свою очередь, погрузилась в пространные рассуждения о блудницах, которые никак не могут понять, где их место, а потому бесстыдно лезут в интеллигенцию.

У Валерии был до предела раздолбанный рояль с дребезжащими басами и лопнувшими струнами, за который ни один настройщик города не соглашался браться, от чего музыка в раннем детстве воспринималась мною как сплошной деревянный лай. Играла в доме главным образом она, причем только божественные, по ее словам, миноры из бетховенских сонат (то, что существуют еще и божественные мажоры, ей и в голову не приходило). Муж лая не выдержал.

Валерия вообще производила впечатление человека, получившего по затылку всеми мешками с песком, которые были в распоряжении у нападавшего. Меня она называла почему-то «Тюключом», так и не объяснив, откуда это «Тюключ» взялся. Идиотское прозвище стало трагедией периода моего музыкального ученичества, потому как она имела обыкновение высокомерно презентовать мне ноты с дарственной надписью «Тюключу от Вавули», что неизменно приводило в экстаз моих преподавателей. Кто эту «Вавулю» придумал, также никто толком не знал, хотя подозреваю, что это было делом папаша, имевшего склонность к бредовому словотворчеству.

К тому времени, когда вышла склока мамы с Валерией, я уже успел окончить музыкальную семилетку с шаткой

четверкой, клеймом «неперспективный» и настоящей рекомендацией не гоняться за миражами. Хотя, по правде сказать, гнался за миражами-то не я, а мать, которая палкой заставляла меня глумиться на все том же рояле над этюдами Черни и инвенциями Баха. Глумиться, как по заказу, выпадало именно в тот момент, когда Валерия лаялась божественными минорам, а поскольку она не соглашалась уступать мне «шкаф с посудой», как в доме называли рояль, я находился в состоянии едва ли не перманентного восприятия специализированной лексики, которую позднее успешно использовал, правда, уже в других целях.

Что касается папаши, то он, дабы избежать участия в семейных «хмехах» (это слово, означавшее космический катаклизм, он заимствовал у Станислава Лема и употреблял всякий раз, когда Валерия с матерью выходили на ристалище), уползал в свою нору. В ту пору она представляла собой пляжную косу Апшеронского полуострова, где родитель пропадал до позднего вечера, а по возвращении сидел со своей другой сестрицей, Калерией (я втихомолку называл теток «Холериями»), и, исполненный буффонной поэзии, делился впечатлениями о море в лучах заходящего солнца. У Калерии была своя нора в виде огороженного забором участка земли за нашим домом, где она держала десятка два дворняг, для которых готовила на кухне разную зловонную мерзость. Когда занятия Калерии кулинарией совпадали с попытками Валерии покорить Парнас, то казалось, еще мгновение и разверзнутся нижние притворы ада.

Не берусь судить, почему Творцу пришло в голову создать всех троих такими оригиналами, и уж тем более разводить философии о его промыслах, но вот по части этой троицы замыслы Господни — если вообще таковые имелись — были реализованы на все сто. Когда собиралась эта компания, я чувствовал, что попал в клинику для душевно-больных. Говорили одновременно, причем только о своем и друг друга не слушая. Чтобы перекричать тетку Валерию, надо было

вообще иметь силу голоса, равную, по меньшей мере, иерихонской трубе, правда, папаше иногда удавалось перехватить инициативу, но всякий раз он терпел сокрушительное поражение. И лишь Калерия, смиренно улыбаясь (ей нравилось иногда воплощаться в матушку из тихой обители), позволяла себе робкие реплики о прелестях готовки для «сиварей» (так на семейном воляпюке звались ее дворняги) на костре под покровом небес.

Одна из «сиварей», сука по кличке Клеопатра, жила в нашей квартире и служила посредницей между сестрами, не разговаривавшими друг с дружкой годами. «Клеопатра, — обращалась тетка Валерия к тетке Калерии, — скажи ей не разводить такую вонь на кухне». «Клеопатра, — отвечала тетка Калерия тетке Валерии, — скажи ей, что от ее музыки вони гораздо больше».

Наблюдая за извращениями нашей семейки в коммуникационной сфере, я уразумел в один прекрасный день, какие широкие возможности они предоставляют, если к опыту Холерий подойти творчески, пока не открыл наконец собственный способ общения, который назвал «выкамариванием». Под этим я понимал устройство разных безобразий, главным образом музыкальных, вызывавших иллюзию общения с непризнанным гением у тех, кто по-гусарски относился к Эвтерпе.

Позже я начал понимать, что «выкамаривания» были чем-то вроде реакции моей психики на «прелести» нашей семейки, своего рода антидот.

В семейных ризах я вообще чувствовал себя глубоко ущербным и уязвленным, поскольку не мог пригласить к себе товарищей, ибо боялся, что они не выдержат запаха собачьих разносолов и могут услышать матерщину тетки Калерии (несмотря на свою показную святость, она ругалась, как пьяный водопроводчик); не мог пообщаться с отцом, зная, что за этим вместо здоровых слов услышу набор разных чудачеств, которые в дальнейшем отбивали всякое

желание советоваться с ним; не мог даже поговорить с теткой Валерией о Бетховене, потому как знал, что последует высокомерный ответ по части того, что есть свиное рыло и есть калашный ряд, при этом мне красноречиво давали понять, кто есть свиное рыло и где именно искать тот самый ряд. Она была уверена, что если в семье и будет пианист, то только ее сын Полиэкт (в конце концов удравший от этого на Крайний Север), и была бесконечно удручена, что дальше сборника для начинающих он так и не пошел. Мысли о том, что способного музыканта в семье может родить кто-то другой, и уж тем более эта, как она называла мою мать, «безродная Мессалина», она не допускала вовсе.

В ту пору я был слишком юн, чтобы всерьез размышлять о силах добра и зла, но о ком-то очень коварном, кто поставил клеймо на всех нас, все-таки думал. И о том, что первой его жертвой стал я, тоже. Тут, конечно, со мной можно было бы и поспорить, однако надо понимать, что в ту пору я дальше своего носа не видел, хотя и не уверен, что с той поры мое зрение по этой части приобрело большую остроту. А еще я не сомневался в том, что за клеймение должно быть воздано и что право на мщение должно быть главным образом у меня. Я не знал, кому воздавать, однако мысль о мщении постепенно становилось моей *idée fixe*. Позже я узнал, что еще в девятнадцатом веке немецкий психиатр Карл Вернике выделил *idée fixe* в отдельное психическое расстройство. Но если мне тогда сказали бы, что у меня появились проблемы с психикой, то в лучшем случае я бы захохотал, а в худшем выделил бы такого человека в объект мести. Тем не менее в моей голове все увереннее срабатывал механизм порождения абсурда, порождаемый этими самыми *idée fixe*: желаемое не соответствовало получаемому, а это, в свою очередь, вело к поведенческой неадекватности.

Жизнь постепенно научила меня приспосабливаться к обстоятельствам, а в ту пору я просто не вписывался в бытовые представления о мальчишках. Не умел драться,

на уроках физкультуры был полным ничтожеством и в отличие от подавляющего большинства своих сверстников совершенно не знал, как вести себя с девчонками, хотя они интересовали меня, и даже очень. Они глядели на меня со снисходительной ухмылкой и называли «придурком». Учителя, видимо, эту точку зрения разделяли, хотя и старались не выражать ее слишком откровенно.

Правда, один раз они все-таки не выдержали. Это было после того, как я написал в сочинении, что считаю роман «Мать» самым слабым произведением Горького. Дело было еще в коммунистические времена и обернулось громоподобным скандалом. По итогам четверти мне поставили единицу по литературе, навесили ярлык «чуждого элемента» на комсомольском собрании и на две недели исключили из школы. По возвращении я был выставлен позорным столбом перед всем моим десятым «б», а классный руководитель, Евгения Анатольевна, кондовая совковая педагогиня с железобетонными мозгами и острым, как выдержанный сыр, голосом потребовала, чтобы я не заражал своей дурью ни в чем не повинные души. Сами «души», как и обычно, когда касалось меня, сдержанно хихикали. Я молчал, но успокаивал себя тем, что мое время непременно придет.

Не знаю, был ли инсульт тетки Валерии прямым результатом моей поведенческой неадекватности, но реализовывать свои скрытые намерения я начал после того, как она в один прекрасный день начала видеть на каждом шагу подслушивающие устройства и людей в черном. Травить анекдоты по вопросам текущей политики, равно как и хохмить вообще, было при ней рискованно, ибо она тотчас же набрасывалась на смельчака, как стервятник на падаль. Это, конечно, не мешало ей продолжать проводить параллели между мной и свиным рылом, однако делало гораздо более уязвимой, чем раньше.

Отец к тому времени уже жил у женщины, с которой познакомился на пляже, и, не обращая внимания на скан-

дали, устраиваемые матерью, звонил сестрицам по телефону общего пользования, установленного в прихожей. Верный своей манере коверкать родной язык, он начинал с приветствия «Салютвичек!». Однако на сей раз мне что-то стукнуло в голову позвонить ему, и, услышав в трубке его голос, я радостно и под довольный хохоток Валерии гаркнул:

— Салютвичек!

Чувствуя каверзу, папаша ответил осторожно:

— Салют!

Я изобразил чеканный голос, создавая тем самым обстановку тревоги, и в «тональностях» сериалов про спецслужбы сказал:

— Звоню по поручению твоей сестры, которая, как должно быть тебе известно, является резидентом в нашем квадрате...

— Проклятый идиот! — заорала Валерия. — Что ты несешь?..

— Она просит передать тебе, что обстановка накаляется с каждой минутой и, возможно, уже к вечеру начнется поиск крайних, — продолжал я в той же манере.

— Замолчи сейчас же! — продолжала кричать тетка и запустила в меня толстенным томом «Крошки Доррит».

— В этих экстремальных условиях, — продолжал я наставлять папашу, ловко увернувшись от фолианта, — она настоятельно рекомендует переходить на резервные пароли. — Не волнуйся, — пытался урезонить я Валерию: — Если и посадят, то ненадолго. Я устрою тебя отдельную камеру. Там у тебя будет проигрыватель. Ты будешь внимать божественным минорам.

Но Валерия уже нагрелась до точки невозврата. Кричала, топала ногами, называла меня попеременно шизо, приبلудой и ублюдком, а потом вдруг схватила за горло и начала судорожно ловить ртом воздух, оседая на пол, я же растерянно бегал по комнате и махал руками.

...Вернулась Валерия спустя месяц. Голос ее был такой же резкий, возражений она по-прежнему не терпела, называла меня суконным рылом, только вот играть больше не могла. Левая рука не подчинялась...

3

Когда аргументы не действуют, остается либо утрашить, либо послать. Но ребенок, похоже, был сделан из железа, потому как не только не собирался сдаваться, а, напротив, начал даже проявлять нечто похожее на драчливость.

— Вот я скажу Исидору Степановичу, что, выступая под знаменами его избирательной кампании, вы дурачили публику, которой он обещает служить словом и делом. Вам не заплатят за выступление и выгонят с работы. Он — мой дядя, между прочим...

Это уже походило на шантаж, и надо было договариваться.

— Ну, и чего же ты хочешь? — спросил я.

Она смотрела совсем уж хамски:

— Мороженого... Я люблю крем-брюле.

Я перевел дух. Могло быть хуже. Этот ребенок, похоже, не знает себе цены.

— Что ж, пошли в кафе...

— Хорошо. Но я хочу только крем-брюле и три раза в день. Вы меня будете встречать после школы в половине первого, после магазина, в половине четвертого, и после сада, откуда я забираю свою сестренку в семь вечера.

Нет, похоже, она все-таки себе цену знала.

— Как тебя звать?

— Ксюша.

— И в кого ты такая нахалка, Ксюша?

— А у нас в семье все нахалы, начиная с дяди Исидора.

— Как ты можешь говорить такое об уважаемом человеке? — фальшиво возмущился я.

— Это вы про дядю Исидора?.. Его не уважают, а боятся, потому что если он кого погонит с фабрики, то работы не найти, ибо безработица в поселке уже достигает двух с половиной процентов от экономически активного населения. Посмотрите только, как стремительно падает на фа-

брике рентабельность производства! Почему? Да потому, что в отличие от руководителей других птицефабрик края он ничего не сделал для реконструкции основных цехов. А ведь даже неосведомленному в экономике человеку ясно, что давно следует заменить устаревшее, построенное еще в советские времена энергохозяйство, эксплуатация которого непосильным ярмом лежит на себестоимости продукции, а это, в свою очередь, самым отвратительным образом влияет на цену готовой продукции, делая ее неконкурентоспособной на местном потребительском рынке.

Я смотрел на нее, как на лунный камень.

— Откуда тебе это известно?

— Мне многое известно, в том числе и то, что вы периодически изменяете своей гражданской жене...

Это было уже слишком!

— Слушай, детка, а не дать ли тебе по шее?

— Получите пинок в пах. Ну, полно трепаться, дядя, пошли в кафе...

В кафе Ксюша чувствовала себя как в родной стихии (я даже начал подозревать, что был не первым, кто подвергся ее шантажу), умяла три порции крем-брюле и готовилась потребовать четвертую, когда я заметил, что неплохо было бы оставить место для семичасового похода вместе с сестренкой. Подумав, она ответила, что калорийность крем-брюле невысока и насытится им практически невозможно. Однако в моих словах рациональное зерно, безусловно, есть. Моя гражданская жена, вне сомнения, жестко контролирует кошелек мужа и наверняка заподозрит незапланированные расходы, поскольку сразу же заметит отсутствие хлеба, молока и картошки, не купленных мной по причине непредвиденных трат на мороженое, хотя соответствующая задача передо мной ставилась еще утром.

Относительно жесткого контроля она, конечно, крепко загнула, тем не менее я принялся соображать, как вести себя дальше. Обычные приемы, используемые мной при встрече

с противником — фальшивое обаяние, напускная лихость, и самоуверенность, — это удивительное создание, похоже, не воспринимало, и следовало искать нетрадиционные методы воздействия.

Она жила неподалеку, в небольшом бревенчатом теремке, огороженном высоким забором, местами обитом жестью, содранной с металлической тары. Такие теремки для нашего поселка, выстроенного для работников птицефабрики и потому совершенно безликого, как всякая инфраструктура, были типичны. Осенью вокруг собиралась непролазная грязь, зимой наметались непроходимые сугробы, и тогда я испытывал особую ностальгию по совсем другим домам и улицам.

У кособокой калитки стояла женщина, подчеркнута некрасивая, будто природа задалась целью сделать ее отталкивающей. В первую очередь обращали на себя внимание ее пронзительные глаза, вонзавшиеся, как две рапиры, нанизывая на клинки по самый эфес. Они довольно неуклюже сидели над крючковатым носом, чуть ли не сразу переходившим в тесаный подбородок с большой пунцовой бородавкой. Все это взятое вместе было ужасно нелогично и непропорционально, а твердые как пакля волосы цвета полыни, коротко стриженные и открывавшие не по-женски мощную шею, лишь усиливали впечатление, что перед тобой продукт глупой импровизации.

— Нас уже ждет твоя мама, — заметил я, горя от нетерпения спихнуть это сокровище в другие руки.

— Это не мама, — ответило «сокровище», — а ее знакомая, лауреат международного конкурса пианистов, и ждет она не меня, а вас. Она тоже была на встрече с дядей Исидором, поскольку собиралась послушать его треп, но после вашего трепе ей больше ничего не хотелось слушать, и она выразила желание немедленно познакомиться с вами.

У меня кольнуло под ложечкой.

— Почему же ты тогда направила меня в кафе, а не сразу к ней?

— У каждого свой интерес.

— Кто из тебя вырастет, если ты сейчас такая меркантильная?

— Не ваше дело, — парировала она и, обратившись к этому пугалу, сказала уже тоном послушного ребенка: — Тетя Вероника, — перед вами дяденька Подхомутов, одна из достопримечательностей нашего поселка.

— Ты мне льстишь, — скромно заметил я.

— Она права, — заметила тетя Вероника неожиданным колоратурным сопрано, составляющим разительный контраст с ее внешностью. — Такое не всякий раз встретишь. Вас в пору в музеях демонстрировать.

— Восковых фигур? — полюбопытствовал я, придав и лицу, и голосу как можно больше наивной невинности и невинной наивности.

Пропустив это мимо ушей, она продолжала разглядывать меня, как диковинку из кунсткамеры.

— Я впервые встречаюсь с подобной профанацией... Вам не стыдно?

— Стыдно чего?

— Так обманывать людей?

— А вам никогда не приходило в голову, что иногда люди желают быть обманутыми?

— Чем, той абракадаброй, которую вы сегодня барабанили?

— Что в этом худого?

— И вы еще смеее спрашивать?.. Так испакостить великое творение!..

Я продолжал изображать непонимание.

— Можете считать это моей Фантазией на тему Шопена. Есть же Вариации на тему Шопена у Рахманинова. Почему же их не может быть у Подхомутова?

Тут, кажется, я хватил через край.

— Вы либо идиот, либо провокатор, — прошипела она, побелев от бешенства.

— Предпочитаю все-таки первое, это безопасней— заметил я в ужасе от того, что мои образы не срабатывают.

Она мерила меня взглядом, где презрение и ненависть уживались с радостью первооткрывателя.

— Нет-нет, я ошиблась, вы не просто провокатор, вы — жулик, и я намерена уничтожить вас. Такой цинизм прощать нельзя.

Сказав это, она, не простившись, скрылась в доме, а Ксюша, напомнив, что наша следующая встреча в семь часов вечера, послушно пошла следом.

Оставшись один, я погрузился в грустные размышления о превратностях судьбы, и хотя все сказанное этой мегерой было более чем справедливо, я чувствовал себя до предела уязвленным.

Не скрою, как и подавляющее большинство людей, я тщеславен, а в том, что касается музыки, тщеславен непомерно. В поселке я окружил себя небольшой группой поклонников и поклонниц, вернее поклонниц и поклонников, которых периодически дурачил, вставляя в Шопена и Листа самого себя, и вовсе не из желания обогатить классиков, а потому, что не знал исполняемые мною сочинения от начала до конца.

Мои выкамаривания неизменно воспринимались фонтанами восторгов и крокодиловыми слезами оттого, что я украшаю птицефабрику, а не Карнеги-холл. Ответом были потупленный взгляд и многозначительное молчание, и хотя меня всего, конечно, распирало, тем не менее я всякий раз тщетно давал себе слово не зарываться, но выкамаривания каким-то чудесным образом сходили мне с рук. Я продолжал слыть маэстро и творческой личностью, слава моя в среде местных дам бальзаковского возраста росла так стремительно, что я поверил в это сам, в результате потерял бдительность и теперь надо мной собирались тучи, которые следовало не медленно разгонять.

С ксюшиным шантажом я справлюсь, хотя и не без труда, а вот с этой Горгоной все будет гораздо сложнее. Она,

похоже, принадлежала к той породе людей, которые идут напролом, без оглядки, бездумно сметая все, что стоит на пути, отвергая компромиссы, даже если это стоит им разбитых лбов и мятых судеб. Я бы мог представить ее вышибалой в кабаке, ответственной из Горгаза, надзирательницей в женской колонии, пришелицей из сопредельного мира — кем угодно, только не пианисткой.

Хотелось бы слышать, как эта бой-баба с ручищами молотобойца и физиономией, будто специально созданной для съемок отечественных фильмов ужасов, сыграет ноктюрн, который в последние годы был неотделим от меня, как мой треп от моей правды. Пусть я его выворотил, подверг вивисекции и хамски нашпиговал совершенно чуждыми фрагментами, но то, что там осталось от Шопена, было сыграно мной достаточно тонко, и у меня были серьезные сомнения по части того, что тонкость такого уровня по силам страшилам, даже если они и лауреаты.

Я сказал как-то (а здешние доброхоты сразу же постарались превратить мои слова в афоризм), что у каждого Красавцева должен быть свой Подхомутов. Считая должность пресс-секретаря директора птицефабрики холуйской и унижительной, я, тем не менее, местом своим дорожил и терять его не намеревался, а потому готов был драться за него до последнего. Если всесильный Красавцев узнает, что я вытворил, да еще на встрече с избирателями, и если об этом прослышит его соперник на выборах Серафим Хрупкий — независимый кандидат и предприниматель, освоивший в районе производство клюквы в сахаре, — то у хомута были все шансы стать еще и подпругой. При одной мысли о разоблачении у меня на лбу выступала холодная испарина, а ноги сами по себе принимались отплясывать жигу, будто на них действовал скрытый вибратор.

Я видел только одну возможность укротить агрессора — влюбить ее в себя.

Мои отношения с отцом, никогда не отличавшиеся особой сердечностью, после перенесенного Валерией инсульта стали почти отчужденными. Он теперь обращался ко мне лишь в случае крайних необходимостей, каковыми были главным образом вручение денег, передаваемых матери на мое содержание, и решение вопросов, связанных с квартплатой, которые в специфических подхомутовских условиях были настолько сложными, что даже в домоуправлении в бессилии разводили руками. Правда, при этом папаша не чурался периодически назвать меня «недоразумением», а однажды и вовсе «гирей на ноге». На это я заметил, что не просил производить меня на свет, а он потупил голову, как делал всякий раз, когда попадал врасплох, и спросил в крайнем раздражении:

— А ты уверен, что на свет тебя произвел я? — и тут же смолк, как в свое время умолкали, когда с губ ненароком срывалась политическая ересь.

Но шкаф уже открылся, и скелет наконец выглянул. Слухи о моем происхождении в семейке кружили не переставая, а Холерии изощрялись в придумывании гадких слов, которыми не уставали называть мою мать.

— Ты хочешь сказать, что я не твой сын?

Этот вопрос я задавал мысленно тысячи раз, но только сейчас осмелился его произнести. Отец распахнул окно и долго рассматривал птиц на тополе, росшем перед балконом.

— Я жду...

— Всею свое время, — сухо бросил он.

На том и кончилось, хотя правильнее было бы сказать началось, но развития не последовало, поскольку в моей голове начало звучать, и я знал, что если перетряхивание семейного бельишка продолжится, звуки прекратятся, а они в ту минуту были для меня гораздо важнее.

Я уже говорил, что в музыкальной школе меня перспективным не сочли, но, покинув ее стены и освободившись наконец от ненавистной мне муштры гаммами, канонами и полифонией, я вдруг почувствовал интерес к фортепиано и начал слышать музыку.

Свою музыку!

Это вышло совсем неожиданно и на первых порах ошеломило меня: поначалу возникали только крошечные несвязанные мелодийки, потом они начали превращаться в конкретные темы, которые я пытался развивать, бездарно подражая тому, что неслось из проигрывателя тетки Валерии. Я уединялся, если такое было возможно в том бедламе, котором был наш дом, и нашлепывал пальцами по груди то, что слышал. Все это было банально и пошло, тем не менее у меня появилось нечто вроде своих этюдов, прелюдий, музыкальных моментов... Я это, конечно, не записывал, да и желания у меня такого не было, не говоря уже об умении. Мне больше нравилось создание и внутреннее слушание, и даже не столько создание, сколько фантазирование, чаще всего на темы услышанного. Если я пытался воспроизвести свои фантазии, то делал это я на все том же «шкафе с посудой» под недовольные реплики Валерии, которая в полной тоске от начавшей сохнуть руки не уставала рассуждать о самовлюбленной черни, которая пытается влезть в различные духовные состояния. Тогда я еще не сознавал, какие возможности сулят эти духовные состояния, а понял совершенно случайно, оказавшись в компании подобных себе прыщавых акселератов, каждый из которых из себя что-то изображал.

Началось с того, что какая-то девица вдруг вперила в меня кофейные глазки и томно прошептала:

— Мне сказали, что вы играете...

Я растерялся и ответил, что это несерьезно.

— Сыграйте, пожалуйста... — пошли настаивать «глазки».

Играть мне было нечего. Репертуарный портфель пустовал, а выученное в музыкальной школе было хорошо забы-

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru